

«Когда спраст нас, что мы делаем, мы ответим — мы вспоминаем».

Рей Брэдбери.

История, которую я хочу вам рассказать, имеет прямое отношение к известному стихотворению Константина Михайловича Симонова, берет свое начало в Колымских лагерях зимой 1939 года, а завершается весной 1981-го в Москве при моем, можно сказать, участии.

НО ВСЕ по порядку, и коли так, то сначала о молодом журналисте Залмане Афромимовиче Румере — главном редакторе моего повествования. Он попал на Колыму с должности заведующего отделом рабочей молодежи и члена редколлегии «Комсомольской правды», причем, что называется, прямо от тоста за праздничным новогодним столом.

Проходил Румер по делу Косарева, тогдашнего генерального секретаря ЦК ВККСМ, и был арестован «по личному указанию врага народа Берии», как не без гордости написал в автобиографии Залман Афромимович, вернувшись в Москву в эпоху всеобщего реабилитанства. Я собственными глазами прочитал эту строку из автобиографии, не поленившись съездить в «Литературную газету», в которой до последнего своего дня работал Румер, чтобы глянуть на его «личное дело»; впрочем, я всего лишь проверял себя, поскольку всю историю Залмана Афромимовича и без того знал, имея счастье полных два года начиная с 1960-го работать с ним вместе в «Экономической газете».

Так как я уже помянул тост за праздничным новогодним столом, доскажу подробности: арестовали Залмана Румера поздно вечером 31 декабря 1938 года. Он был дежурным редактором новогоднего номера «Комсомолки», весь день провел в редакции, а когда последняя полоса была им подписана, соорудил с бригадой в редакторском кабинете «закусон». Они успели выпить за Новый год, подняли второй тост, как и положено, за товарища Сталина, тут и вошли двое: извините, вы Румер? Залман Афромимович сразу же понял по их физиономиям (нам он рассказывал, употребив другое слово: «фрозам»), но спокойно велел им подождать в приемной, «уж позволите допить за Иосифа Виссарионовича». Они вышли. Позвонили. Румер махнул стопку и не закусив, пошел в сопровождении двоих по коридору. Кто-то из дежурной бригады догнал их уже у лифта, сунулся было с вопросом к Румеру, но он сказал: потом, старичок, завтра приду на работу, поговорим. Пришел он, как вы догадываетесь, ровно через семнадцать лет.

Что еще надо сказать о Залмане Румере прежде, чем двинуться дальше? Когда мы виделись с ним последний раз на этом свете, он неважно себя чувствовал, тер рукой сердце, был мрачен, но, не меняя мрачного вида, оптимистично сказал: ничего, старик, прорвемся, тем более что помирать мне нельзя. Я заметил, что всем нельзя, он, однако, мне возразил, сказав, что ему особенно: «Представь, идет редколлегия «Литературки», и вдруг кто-то входит: товарищи, только что позвонили, что Румер умер! И все смеются, такой, понимаешь, эффект. Можно ли мне помирать?» Говорил он, как всегда, негромко, спокойно и без капли юмора: смешнее некуда. Залман Афромимович почти не ошибся: 20 июня 1981 года кто-то приоткрыл дверь в кабинет Чаковского, где шла редколлегия...

ТЕПЕРЬ я мог бы сразу приступить к истории, случившейся с моим героем на Колыме зимой 1939 года, но, забываясь о драматургии повествования, прошу вас, читатель, перенестись со мной в год 1978-й. Центральный Дом литераторов: писатели встречаются с работниками Норильского металлургического комбината. Мероприятие, как мне сказали, казенно планировали провести в Малом зале, но народу почему-то оказалось так много, что пришлось на ходу перебираться в Большой. Делегация норильчан под звуки марша построилась на сцене: человек тридцать молодых рабочих в одинаковых синих с погончиками блузах, в красных лентах через левое плечо к правому бедру, как у победителей эстафетного пробега по Садовому кольцу. Все на зависть красивые: девушки — полногрудые, мальчишки — с осинными талиями и в коротких «комсомольских» стрижках, на них любо-дорого было смотреть, зал с упоением аплодировал. Потом полилась через репродукторы слегка смикшированная «мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз» в исполнении Кобзона, а молодые рабочие при помощи мелодраматично, как пионеры на взрослых форумах, отпартовали писателям об успехах родного комбината: в зарифмованных стихах тоннах, процентах плана, рекордных добычах и в количестве новорожден-

ных на каждую тысячу жителей заполярного Норильска.

Вел вечер Константин Михайлович Симонов, ему помогал Евгений Иванович Рябчиков, которого я хорошо знал, как и то, что ему пришлось в свое время отдать несколько лет жизни северным лагерям. Они сидели на сцене за отдельным столиком, на котором стояли микрофоны, бутылка минеральной воды и пара фужеров. Симонов по-домашнему снял пиджак и бросил на спинку стула. Черный свитер с высоким горлом, помню, делал всю его фигуру молодой и задорной.

Вечер тем временем формально и скучно катился к своему завершению, все ждали после торжественной части концерта «мастеров искусств», как вдруг слова поприслал Давид Кугультинов. Симонов жестом пригласил его к микрофону, поэт быстрыми шагами поднялся на сцену: пыльная шапка волос, словно сильным порывом ветра, была сдвинута немного

рода и даже не о том, чтобы жить, а о том, чтобы выжить: по утрам люди не сразу поднимались с нар, а прежде помогали друг другу отодрать волосы, примерзшие за ночь к стенам барака. Я запомнил еще несколько поэтических строк из той горькой и неожиданной речи: «...иная даже верная жена писала отречение от мужа... и дети, рыдая, отрекались от отцов...»; запомнил я и такой печальный образ: признание поэта в том, что, работая над стихами, он «слезами рифму закрепляет»; ну и, конечно, последние слова Кугультинова, произнесенные хоть и с лафосом, но в трагической тональности: «Норильск, Норильск, скажи мне, почему ты все же дорог сердцу моему?».

Зал словно переменялся, в нем оказались совсем не те люди, которые были до выступления поэта. Во-первых, по возрасту: сразу бросилось в глаза обилие стариков, каждый из которых как бы охранялся или оберегался более молодыми

священные друг, сидевшему в ту пору в Норильске, но по понятным причинам опубликовать их удалось несколько позже, в начале войны, и, если зал не возражает, Симонов готов их сейчас прочитать. Поднявшись из-за стола, Константин Михайлович не встал на трибуну, а сделал по сцене два-три шага к зрителям, остановился у самого края и в полной тишине, без микрофона, грассируя, начал: — Жди меня, и я вернусь, только очень жди...

На третьей строке зал вдруг поднялся. Мы стоя выслушали известные каждому из нас стихи, вдруг приобретшие совершенно иное, я бы даже сказал — оглушительное звучание. Сейчас я полностью процитирую стихотворение, а вы, читатель, если, конечно, сочтете это возможным, еще раз прочитайте в его смысл, чтобы убедиться: ничего в них нет о войне, а есть о сосланном в Норильск товарище Симонове, только одна строка мо-

Валерий АГРАНОВСКИЙ

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ЖДИ МЕНЯ

Москва, Комсомольск - 1990, - 30 стр.

Отрывок из документальной повести «ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ»

вверх и назад, так что всему облику знаменитого калмыка как бы придавалось летящее вперед состояние. Я видел иногда в ЦДЛ Давида Кугультинова, мне попадались в журналах переводы его стихов, богатых метафорами, но даже предположить, о чем он может говорить с работниками... я, конечно, не мог (в ту пору об этом громко уже не объявляли), но с первых же его слов заговорил, да и весь зал настояжился, я уж не говорю о норильских руководителях.

«Друзья мои, — сказал Кугультинов, — я не хотел бы портить вашего праздничного настроения, но не могу не вспомнить людей, на костях которых стоит Норильск!»

«Мой адрес не дом и не улица» тут же убрала.

Кугультинов ни слова не сказал о трудных героических буднях нынешнего Норильска, а вспомнил о том, как молодым человеком написал письмо Сталину в защиту своего маленького народа, «друга степей», обвиненного в тотальной измене Родины и высланного с собственной земли, после чего и оказался в Норильске на долгий десяток лет «покорять вечную мерзлоту». Боюсь напутать слова из стихотворения поэта и запянуть не так расставить, хотя, конечно, мог бы взять с полки сборник Кугультинова, переписать правильно, а не цитировать строки по памяти, но согласитесь, что у слов, выверенных благодарной памятью, а не холодными глазами, другой вкус: «Я счастливым тем, что даже в годы горя не поступался правдой своей... ни денег я не приобрел, ни славы, но высшему награды дорожки... и рад, что в многотрудной жизни на эти строки право заслужил».

Стоит добавить, что поэт, сидя в зале, выступать, по-видимому, не собиравшись, он молчал, как многие из нас молчали (чтобы не сказать: помалкивали), хотя даже мне было о чем рассказать в этот вечер людям, вспоминая собственного отца, отдавшего дань Норильску. Кугультинов, я думаю, отправил записку Симонову, когда кто-то из молодых норильчан пожаловался на трудности покорения Севера: его бригада из четырех человек почти два года живет в одной комнате общежития (дом, правда, с паровым отоплением), но мечты о семье и детях приходится откладывать на неопределенный срок. Вот тут поэт и взял слово.

Говорил он сначала сдержанно, не распадая ни себя, ни зал. Он вдумался, время, когда его «бригада» из двухсот человек, причем отнюдь не «добровольцев-комсомольцев», жила в бараке, в котором ни комнат отдельных не было, ни труб отопления, а только сплошной настиллом нары в два этажа. На них впритирку, согреваясь телами, лежал согнанный с разных концов страны «интернационал», но о семье мечтающий, не о продолжении

людьми, чем-то друг на друга неуловимо похожими. Господи, сообразил я, да они же пришли со своими детьми и внуками! Во-вторых, по настроению: до речи Кугультинова и я избегал смотреть в глаза соседям, и они, я это чувствовал, уходили от моего взгляда — мы, по-видимому, подозревали кого угодно, кроме себя, в намерении бездумно провести вечер, как и было написано в пригласительных билетах, «в кругу друзей», а теперь стало ясно, что здесь собрался «круг товарищей по несчастью», которому ни мастера искусств не нужны, ни легкое времяпрепровождение, — и, стало быть, можно смело узнавать друг друга, можно открыть глаза.

Кугультинов вернулся в зал, а горечь и ностальгия потянулись стариков на сцену, чтобы вспомнить непарадный Норильск, живых и погибших товарищей, да еще в присутствии своих родственников, и скоро с трибуны посыпались-замелькали известные или малоизвестные стране имена бывших норильчан: Саня Мильчаков, Лизанька Драккина, Алеша Гарри, Благой Попов, Жорка Жженов, Лева Гумилев... Я видел, как Евгений Иванович Рябчиков потянулся к Симонову, что-то шепнул ему с озабоченным выражением на лице (что еще он мог шепнуть, кроме, как: «Костя, дело пошло не туда, нас не поглядят по головке»), а Симонов в ответ всего лишь поднял плечи: мол, а что тут можно поделать?! В этот момент кто-то из стариков вспомнил с трибуны о кладбище на окраине Норильска, он сказал: «У нулевого пикета» (его, между прочим, зал сразу понял: «людэвэ», «людэвэ!» — раздалось с разных сторон), и оратор повторил: «Правильно, я говорю о «людэвэ». Оказалось, так звали китайца, сторожа этого кладбища — Лю Дэвэ, он тоже был заключенным, в конце концов, и его похоронили там же, как и всем, написав на пятаке номер чернильным карандашом и положив без гроба в землю («Они на вечном сохранении у этой вечной мерзлоты»), но даже после его смерти лагерные начальники продолжали говорить строптивым экамом: «Вы что, на людэвэ захотели? В момент устроим!».

Тут оратор показал носовой платок всему залу, на котором крестиками были помечены места захоронений его товарищей по 14-му барaku 2-го лаготделения, а потом поднял над головой этот платок с плетом кладбища как единственный памятник погибшим, если не считать кровотокающей памяти.

Я прекрасно понимал Симонова: как остановить оратора, как показать ему, куда надо поворачивать это горькое прошество воспоминаний? Дождавшись паузы, Константин Михайлович что-то шепнул Рябчикову, наверное: «Женя, объяви меня». Тот немедленно объявил. Не помню точно, с чего начал Симонов, но сказал он примерно следующее: до войны ему пришлось написать стихи, по-

жет вызвать у вас сомнение, как вызвала у меня, в которой говорится об «огне» («как среди огня ожиданием своим ты спасла меня»), но сомнение отодвинется, если вы сочтете за этот «огонь» не пушечные залпы, а, положим, огонь мартовен Норильского металлургического комбината. Итак, вот эти знаменитые стихи, в которых я шрифтом выделю совсем уж «норильские» строки, а затем продолжу рассказ обо всей этой невероятной истории, решающую роль в которой призван сыграть (надеюсь, еще не забытый вами) Залман Афромимович Румер:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда СНЕГА МЕТУТ,
Живых и погибших товарищей,
Жди, когда ДРУГИХ НЕ ЖДУТ,
Позабыв вчера,
Жди, когда из ДАЛЬНИХ МЕСТ
ПИСЕМ НЕ ПРИДЕТ,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что ЗАБЫТЬ ПОРА.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — ПОВЕЗЛО. —
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
КАК Я ВЫЖИЛ, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Аплодисментов не было. Ни одного хлопка. Молча стояли. Минуту. Вторую. Может быть, три. Потом Константин Михайлович смущенно сказал: «Прошу садиться». Как говорят после того, когда почитают память вставанием. Старики кулаками смахивали слезы с покрасневших глаз. Зал осторожно сел на свои места. Зал думал. Согласитесь, странно прозвучало со сцены ЦДЛ в исполнении Симонова — идеально к месту! — эти совершенно не военные стихи: ни фашистов в них нет, ни врагов, которые «сожгли родную хату», ни самолетов, ни противотанковых орудий, ни солдат, ни политработников, ни коммунистов, которые вперед», ни окопов, ни выстрелов, ни смерти, до которой четыре шага, ни Родины, истоп-

танной оккупантами, ни «пяди, которую не отдадим без боя», ни пролитой крови, своей и чужой, ни прочей атрибутики типичных военных стихов, тем более той грозной и призывающей поры, когда они официально были напечатаны в центральной газете.

С другой стороны, если «Жди меня» действительно было связано с политзаключенным другом Симонова, сидевшим в Норильске, какими им следовало быть, чтобы иметь шанс на публикацию? Откровенно признаться, как и весь зал, я был в сматнении.

НО ЭТО еще далеко не конец истории. Случилось так, что какое-то время спустя, когда Симонова уже не стало, я оказался в одном доме за общим столом вместе с милейшей и прелестнейшей Евгенией Самойловной Ласкиной, бывшей женой Константина Михайловича, матерью его сына Алексея, талантливого и ныне известного кинорежиссера. За столом я рассказал «в лицах» потрясающую историю, происшедшую в ЦДЛ, хотя, как я понял, отзвуки ее Евгения Самойловна уже слышала. Тем не менее, она позволила мне высказаться, а потом сказала: увы, все было со стихами «Жди меня» не так.

— Уже шла война, год был сорок первый, — продолжила Евгения Самойловна, — мы жили в Переделкине на даче у Льва Кассиля, и вот однажды с фронта на несколько дней приехал Симонов. В один из вечеров мы сидели в большой гостиной и пили чай. Костя работал в кабинете, потом вышел оттуда и с нескрываемым удовольствием сказал, что ему удалось, кажется, не очень плохие стихи и предложил их прочитать. Это были «Жди меня». Через полгода стихотворение увидело свет в центральной газете. Предположить, что, поддавшись общему настроению и не желая быть ему в диссонанс, Константин Михайлович на вечеру в Доме литераторов слегка мистифицировал историю написания «Жди меня», я, как вы понимаете, не могу, даже если все было так, как вы, Валечка, нам рассказали, — закончила Евгения Самойловна.

В подобных случаях следует писать: немая сцена.

Я не знал, что и подумать, если бы история на том закончилась и если бы жизнь не была такой сложной, какой она является на самом деле. Вот и пришла пора нам с вами, читатель, возвращаться к Залману Афромимовичу Румеру, с которого я начал эти воспоминания. Прошло уже какое-то время, и случилось так, что я зашел по делам в «Литературку» и, конечно, нос к носу столкнулся на четвертом этаже, где как раз располагался (в старом здании на Цветном бульваре) отдел писем газеты, с его заведующим Румером. Увидев меня, он мрачно произнес: «Зайди ко мне, вот ключ от кабинета, я только на полминуты к Чаку». Ну что ж, зашел, сел в кресло, закурил и подумал, что надо бы выяснить, наконец, у Залмана Афромимовича давно обещанные им подробности о том, как выносили Сталина из Мавзолея. Дело в том, что еще в самом начале шестидесятых годов, когда мы вместе работали в «Экономической газете», Румер от кого-то узнал примерные дни (они держались, конечно, в глубокой тайне), когда Сталина «вынесут на мороз», и стал дежурить на Красной площади ночами, не желая пропустить этот момент торжества справедливости, и, представьте себе, не пропустил. Пришел утром (кажется, в октябре) месяца шестьдесят первого года, если мне память не изменяет, а она мне, как правило, не изменяет) Румер в редакции усталый, но довольный, сказал одно слово: «вынесли», а подробности обещал «потом», вот так и пролетели годы, мы и виделись редко, да и я спрашивать перестал. Скоро возник Румер на пороге своего кабинета, взял у меня сигарету (своих он никогда не носил, все надеялся бросить курить), затянулся и как всегда спокойным и деловым тоном сказал: «Ты, говорят, был в ЦДЛ, когда Симонов выступил перед Норильском? Расскажи мне подробности». Я коротко рассказал и вот что услышал в ответ, а уж вы, читатель, выводы делайте сами.

В декабре 1939 года, находясь в Колымских лагерях, Румер попал в переделку, едва не стоившую ему жизни. Кто-то из товарищей по бараку показал ему листочек со стихами, написанными от руки и под названием, как вы уже догадываетесь, «Жди меня», причем неизвестного автора. Залман Афромимович стихи понравилась искренностью, он взял листочек себе, а через сутки или двое стукнули, как и положено в таких случаях, «куму» (спецоперу). Тот вызвал к себе Румера: чьи стихи, как повелось в зоне, что передал, кому сам показывал — полный допрос с составлением протокола. То, что стихи «лагерные», что посвящены именно политическим, а не каким-нибудь бытовикам или уголовникам, ни у «кума», ни у Залмана

Афромимовича сомнений не было, да и быть не могло. Прикинув, что, если ему шьется новое дело и если оно будет групповым (а таким оно может стать, если в нем замешаны хотя бы два человека), Румер, избегающий беды, решил «признаться»: никто мне листочек не давал, я тоже никому не показывал, а стихи написал, извини, признанием удовлетворился, эксперимент проводить не стал, признание и без того царичья доказательство, быстро оформил дисциплинарное дело на Румера и тут же закрыл его пятнадцатую сутками — шизо (штрафного изолятора). Прошло после того года два, уже война шла, «кум» перебрался подальше от фронта в начальники лаготделения и вдруг однажды вызывает к себе Румера, показывает ему какую-то центральную газету; что же ты, так твою так, чужое присваиваешь, это же стихи товарища Симонова, и называет так же! И еще пять суток не пожалел для Румера с кружкой кипятка и пайкой липкого серого хлеба в день.

Вернувшись после реабилитации в Москву и встретив как-то Симонова в редакции, Румер специально познакомился с ним, чтобы сказать, как он это всегда делал, совершенно серьезно и даже без намека на шутку: «Нехорошо, Константин Михайлович, присваивать чужие стихи». — «В каком смысле?» — «Так ведь ваши «Жди меня» я написал!». И выложил всю историю. Я, конечно, спросил, какова была реакция Симонова. «Нормальная была реакция, — ответил Залман Афромимович, — пошел тут на угол, я поставил Косте сто пятьдесят, а он мне. Соавторы! Ну еще на «ты» выпили, на брудершafft. Так что, Валерий, он правду сказал в ЦДЛ: до войны писались стихи...».

ЧТО скажете, дорогой читатель? Как оцените происшедшее, со всеми подробностями мною вам рассказанное? Мне лично еще нужно избавиться, чтобы сделать какие-то выводы, от некоторых сомнений, чем я сейчас и займусь прямо на ваших глазах. Замечу только, что, если б я был биографом Константина Михайловича или просто литературоведом — историком, вопрос бы решился для меня просто и бесповоротно. А так...

Сомнение первое. Действительно ли было сказано Симоновом со сцены Дома литераторов, что «Жди меня» были написаны им до войны и связаны с судьбой товарища, сидевшего в Норильске, или это мне показало? То, что я не один сидел в зале, что все мы, потрясенные, поднялись и стоя слушали стихотворение Константина Михайловича, еще ни о чем не говорит: «показаться» могло и всему залу, такие случаи бываю, и даже не редки.

Сомнение второе. Действительно ли Евгения Самойловна Ласкина зимой 1941 года, находясь на даче в Переделкине, слышала в исполнении Симонова «Жди меня», написанные «только что» в рабочем кабинете Кассиля? Но как, собственно говоря, у нас с вами или у меня «основания сомневаться в точности сказанного Евгенией Самойловной, обладающей, кстати, совершенно уникальной памятью, тем более что официальная библиография относит написание этих стихов именно к году их первой публикации? И какой был смысл Симонову мистифицировать Ласкину и Кассиля?

Сомнение третье. Действительно ли произошло на Колыме история, рассказанная мне Залманом Румером, при этом я не ослышался, а он не оговорился, что именно зимой 1939, а не зимой 1941 года? Впрочем, если даже Румер ошибся (или я его не так понял) и «Жди меня» на самом деле были написаны не до, а во время войны и тогда стали в списках гулять по лагерям редким для того времени самиздатом, то какой был смысл Константину Михайловичу объявлять всему залу в ЦДЛ, что стихотворение связано с довоенным Норильском? К чему была эта, пусть даже невольная, одним настроением вызванная мистификация, но можно считать ее таковой, если она уж очень совпадает с воспоминаниями Румера? Не знаю, читатель, как вы, а я просто теряюсь...

И последнее, пожалуй, самое главное, о чем необходимо сказать: как бы там ни было, когда бы Симонов ни писал «Жди меня», сама возможность естественного и правдивого «наложения» стихов гражданского звучания на лагерные (или, если угодно, лагерных на гражданские) заключает в себе так много несоответствия содержания, что, право, нет никакого резона и удовольствия докапываться до историко-библиографической истины, особенно, когда ее можно найти в самой жизни.

На том и поставлю точку.

Гонимая за эту публикацию автор перечисляет в фонд строительства памятника жертвам сталинских репрессий.